

АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

война

том

АНФ

Аркадий Бабченко

Война

«Альпина Диджитал»

2015

Бабченко А.

Война / А. Бабченко — «Альпина Диджитал», 2015

ISBN 978-5-9614-3911-3

Аркадия Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он прошел две чеченские кампании и хорошо знает, о чем пишет. Война просто не отпускает – в качестве военного корреспондента Аркадий Бабченко работает на фронтах Южной Осетии-2008 и Украины-2014. Его записи в блоге и «Фейсбуке» вызывают море эмоций. Им восхищаются, и его ненавидят. Его клеймят, и его принципиальность и профессионализм приводят в пример. Сборник «Война» – пронзительно честный рассказ о буднях чеченской войны, о том, как она ломает судьбы одних людей и выявляет достоинства других. Да, героизм на войне есть, но в основном – это тяжелые от налипшей глины, пропахшие потом и дешевой водкой, отороченные болью, ненавистью и страхом бесконечные дни. «Война» – художественное произведение, хотя большинство событий в действительности происходило с автором. И именно в это время. Черное время войны.

ISBN 978-5-9614-3911-3

© Бабченко А., 2015

© Альпина Диджитал, 2015

Содержание

Введение	6
Взлетка	10
Моздок-7	20
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Аркадий Бабченко

Война

Том¹

Текст публикуется в авторской редакции

Руководитель проекта *А. Тарасова*

Корректор *Е. Аксёнова*

Компьютерная верстка *М. Поташкин*

Дизайн обложки *Ю. Буга*

Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).

© Бабченко А., 2014

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2015

* * *

Введение

Родился 18 марта 1977 года в Москве. Ходил в детский сад. Подрос. Ходил в школу. Подрос. Слушал неформальную музыку, носил длинные волосы и телогрейку, пил пиво, покури-вал втихую от родителей и прогуливал уроки. Дрался с депешистами. Точнее, они меня били, потому что я был хилым, а главное, совершенно не переносил насилия.

После школы решил взяться за ум и стать адвокатом, но на первом же курсе понял, что юриспруденция – не мое призвание и вообще тоска смертная, и... продолжил учиться.

Когда пришла повестка из военкомата, пошел в военкомат и сказал, что хочу служить. Отсрочка была, но мне не захотелось. Была возможность и «откосить» – на медкомиссии мило видная женщина-психиатр, узнав, что я со второго курса юрфака добровольно иду в армию, спросила «Ты что, дурак?» и отправила меня на обследование в психушку – выяснить, не дурак ли я.

Это были незабываемые три недели... Наркоманы, бандюги, бомжи, алкоголики и просто чокнутые. Мир через зарешеченное окно, обколотые аминазином тела в ломке, белая горячка и психопатия. «Дачки» на ниточках через решетку, «баяны» с героином, «релашка» и галаперидол.

Через три недели меня вызвал главврач и предложил на выбор: а) за весьма умеренную сумму в четыре миллиона навсегда демобилизовать меня из ВС по статье 5Б «Наркомания» с лишением родительских, водительских, учительских и прочих прав; б) за меньшую сумму остаться проходить обследование еще лет так на пять и в) отправиться крутить портянки.

Поэтому из психушки я вышел абсолютно здоровым человеком и направил свои стопы на московский сборный призывной пункт.

Была осень. Падали листья, и шел дождь. Глаза после проводов резало. Высокий забор наводил уныние.

Наша непобедимая, в лице здорового пьяного старшины-десантника, встретила меня многообещающими словами:

– Ну что, обмороки, вот вы и в армии... Кто в рыло хочет?

Начало мне сразу не понравилось.

...Первые полгода прослужил в учебке в городке Елань, что под Свердловском. Там я узнал слова куда как более загогулистые, чем те, что говорил нам десантник. Чувство такта, а также цензура не позволяют мне привести здесь эти шедевры русского языка, но, поверьте, они стоили этих подъемов за сорок пять секунд, ночных марш-бросков, ежедневного шестичасового вдальблывания табуреткой в голову точек-тире, упоров лежа, «сушения крокодилов», ночного «кача», «смотрения телевизора», стрельб из автомата на заснеженном поле при минус тридцати пяти, отбоя через «вертолет» и бани в промерзшем насквозь помещении.

Первые две недели я думал, что умру.

Впоследствии я понял, что по армейским меркам это был рай.

Через пять месяцев был назначен начальником возимой симплексной приемопередающей УКВ-радиостанции и отбыл в Чечню в составе эшелона из полутора тысяч штыков.

Но до Чечни из нас доехали только тысяча четыреста девяносто пять человек. Остальные пятеро, в том числе и я, на два месяца задержались в Моздоке, в 429-м, орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова мотострелковом полку имени Кубанского казачества. Кубанские казаки сидели на одеялах за казармами, поднимали чарки и говорили «Любо...».

В этом полку многообещающие слова десантника оправдались в полном объеме. «Кто летит быстрее мухи? Это духи, духи, духи...» Ну да, били. А куда деваться? Армия!

В июне 1996-го уехал в отпуск по семейным обстоятельствам. Вернулся.

В августе 1996-го уехал во второй раз, заболел сразу всеми возможными болезнями, начиная от воспаления легких и заканчивая дизентерией (в Чечне хоть бы раз чихнул), вследствие чего попал в инфекционную больницу.

Это были незабываемые пять дней. Желтушники, дизентерийщики и прочие тифозники. Манная кашка с селедкой на обед и на ужин, промывания, анализы и капельницы.

Через пять дней сбежал по чужому пропуску и две недели гулял на свободе. Слушал неформальную музыку, брил лысину, курил с отцом, пил пиво и бил депешистов. Отпуск, естественно, просрочил.

В комендатуре, куда я пришел отмечать окончание своей вольницы, сказал, что желаю убыть обратно в Чечню к своему старшине. На меня посмотрели, сказали «Ты что, дурак?», сняли шнурки, ремень, смертник и посадили в камеру. После чего отвезли на губу.

Это были незабываемые десять дней.

– Бабченко!

– Аркадий Аркадьевич! Старший сержант! Срок – десять суток!

Подъем в пять утра, утренний туалет – две минуты, завтрак – десять минут, прогулка – полчаса, обед – пятнадцать минут, ужин – семь минут, вечерний туалет – пять минут. «Длинный, бегом, падла, у меня вас тридцать камер...» Спать нельзя. Курить нельзя. Лежать нельзя. В туалет нельзя. Только сидеть и думать о своем проступке.

Со мной в камере оказались еще два таких же «лыжника», как и я, один грабитель, один насильник и один вор.

Обо всем переговорили в первый же день. На второй день обо всем переговорили еще раз. На третий день друг друга тихо душили.

Десять дней, оказывается, могут тянуться невыносимо долго. Так долго, что эти полторы недели стали отдельной частью моей жизни, гораздо более весомой, чем десять лет школы и пять института вместе взятые.

После губы меня перевели в так называемый дизелятник и завели уголовное дело по статье «Дезертирство». Три месяца ждал, посадят или амнистируют. Все это время развозил цинковые гробы с погибшими. Назывался этот наряд «спецгруз». Погибших пацанов в Москву прибывало много. По два-три человека в день.

Пока ждал результатов следствия, появилась возможность откосить. Старший писарь, заводя на меня анкету, спросил, не снятся ли мне по ночам кошмары. Я ответил, что нет, сон мой ровен и спокоен и я по-прежнему готов служить Родине в любой ее точке. Писарь спросил, не дурак ли я, и посоветовал сходить на медкомиссию. Тут я вспомнил, что у меня и впрямь случаются жуткие головные боли, сопровождаемые невыносимыми кошмарами, и записался на прием.

Врач выслушал меня очень внимательно, почему-то заявил, что из-за симулянтов армия когда-нибудь развалится окончательно, и отправил на обследование в Кашенко.

Этот месяц был не... Ну, вы в курсе. Помощь поварам на кухне, дополнительная жрачка, увольнительные в город, ворованный спирт, успокаивающая прополка газонов на свежем воздухе и ласковые медсестры.

Бабушка моя тем временем перекинула через плечо дорожную сумку, набитую шоколадом, и пошла торговать по электричкам. И наторговала на два миллиона рублей.

Деньги эти она положила в коробку конфет, коробку запаяла обратно целлофаном «абы никто ничего ни-ни» и пошла на поклон к заведующему отделением, чтобы «за внучика попросить». Врач то ли не любил сладкого, то ли не продавался за непечатую коробку конфет (кто ж сообразит, что в ней два миллиона!), но взятка весь месяц так и пролежала нераспечатанной.

В общем, из армии меня не дембельнули.

Уголовное дело к тому времени закрыли, висящие на мне две ворованные «мухи», сумку с патронами и гранаты, обменные Тимохой на героин в Моздоке, списали на боевые, в пси-

хушке, как я уже сказал, не оставили, дембельнуть тоже не дембельнули, коробку конфет у офигевшего заведением забрали обратно...

Ничего не оставалось, как отправляться дослуживать в город Тверь, в 166-ю мото-стрелковую бригаду, зенитный дивизион, батарею радиолокационной разведки и управления. Сокращенно БРЛРУ, или «бэ-эрэл-эру». Как впоследствии говорил мой комбат майор Гаврющенко: «Бабченко! В пиндендельник прихожу и удивляюсь – в бэээрэлэрэрулуруулуру все в порядке!»

Сопровождающего офицера в дорогу мне не дали, сказав: «И так сойдет... А хотя бы, если и сбежишь, все одно к нам вернешься, куда ж тебе деваться-то, родимый. Езжай с миром».

И я поехал. И вправду не сбежал. Однако, когда пришел в Тверскую комендатуру и спросил, как мне найти мою часть, потому что – вот он я! и хочу служить, на меня посмотрели довольно косо. Но ничего не сказали. Только спросили про сопровождающего. По-моему, я был первый, кто добрался до части своим ходом и не сбежал.

Собственно, в этой комендатуре, а точнее, в такой ее составной части, как гауптвахта, и прошла моя оставшаяся служба в качестве помощника начальника караула и арестованного попеременно.

Поскольку я был единственный сержант в БРЛРУ, да и во всем дивизионе, а в караул мы ходили через день, то мне ничего не оставалось делать, как через день на ремень в должности помначкара (помощника начальника караула по-граждански).

Сорок одни сутки славное караульное помещение давало мне кров и еду в своих стенах. Я же в ответ следил в нем за чистотой и порядком, знанием караульными своих обязанностей, а также за сохранностью оружия и его выдачей-приемом.

С оружием все было в ажуре, караульные устав знали так, что от зубов отскакивало, а вот с чистотой были проблемы. Засранцы-караульные никак не хотели взяться за дело и отмыть каптерку сверху донизу. Так, после восьми часов на посту с щетками поползают на коленях часа три от силы; всего лишь тремя водами мыло смойут; раз пять, не больше, насухо вытрут; пару часиков остатки стеклышками добела поскоблят; «машкой» из колодезного люка, завернутого на шинель, блеск сверху наведут и давай дрыхнуть все оставшиеся от суток двадцать минут напролет. Работнички.

А вот так, чтобы с душой – нет, не было в них этого.

Поэтому начгуб капитан Железняков (страшный человек, между прочим, гроза всех караульных) каждый раз либо за шкафом, либо под оторванной им паркетинной, либо, на худой конец, на внутренней стороне поднятого плинтуса обязательно находил хлопья пыли.

После этого я получал выговор, сутки ареста за халатное исполнение обязанностей, сдавал лейтенанту-начкару автомат, ремень и шнурки, смотрел, как все это вместе с повеселевшим караулом грузится в «Урал» и отправляется в часть на мягкую койку и к гречневой каше, и шел в камеру.

Каждые из этих суток были... ах, черт, я уже об этом писал.

Впрочем, посадить меня больше, чем на сутки, начгуб не мог. Поскольку я был единственным сержантом в БРЛРУ, да и во всем дивизионе, а в караул мы ходили через день, то ровно через сутки приезжал мой лейтеха с погрустневшим караулом, меня выводили из камеры, вручали автомат, шнурки и ремень, я становился в строй и шел в караулку следить за чистотой, порядком и сдачей оружия.

Это курсирование через плац комендатуры продолжалось восемь месяцев, после чего министр обороны подписал указ о моем увольнении в запас, я побрил голову налысо, швырнул в потолок пайку масла и свалил домой на дембельском поезде.

Как я провел последующий месяц, описывать не буду. Не помню. Ну да, пил. А куда деваться – дембель!

Восстановился в институте. Доучился. Сдал экзамен. Получил диплом бакалавра юриспруденции по гражданскому праву. Как сказал мой хороший знакомый Денис Бутов, закончивший институт примерно таким же макаром (ушел со второго курса юрфака, а восстановился на третьем бухучета): «Бухгалтер, етигна кошка! Не завидую той фирме, что возьмет меня на работу».

Так вот и я: юрист, етигна кошка!

Получил диплом, пришел домой, сел в кресло, включил телевизор и узнал, что началась вторая чеченская...

Когда дембельнулся второй раз, написал статью о том, что видел. Отнес ее в несколько газет. После чего из одной мне позвонили и предложили поработать военным корреспондентом.

Чем до сих пор и занимаюсь.

Эта книга – не автобиография, хотя процентов восемьдесят или девяносто написанного происходило именно со мной и именно так. Но все же это художественное произведение. Где-то я писал от первого лица, где-то от третьего, где-то называл героя своим именем, где-то – придуманным специально для него. Почему? Не знаю. Так писалось. Я не придавал этому значения.

Просто эта книга не задумывалась именно как книга. Это не литература. Не творчество. Это – реабилитация.

Как говорит ветеран Афганистана Паша Андреев – не надо таскать свое прошлое за собой в рюкзаке.

А лучший способ избавиться от своей войны – рассказать о ней.

Это попытка избавиться от своей войны.

Читайте.

Взлетка

Мы лежим на краю взлетной полосы – Кисель, Вовка Татаринцев и я – и подставляем голые животы небу. Несколько часов назад нас пригнали со станции, и теперь мы ждем, что будет с нами дальше. Наши сапоги стоят рядышком, портянки сохнут на голенищах. Мы впитываем тепло. Так тепло, кажется, нам не было еще никогда в жизни. Желтые отроги сухой травы колот спины. Кисель срывает пальцами ног травинку, переворачивается на живот и крошит ее в руках.

– Смотри, сухая совсем. А в Свердловске еще сугробы выше головы.

– Тепло, – поддакивает Вовка.

Вовке, как и мне, восемнадцать лет, и похож он на сушеный абрикос – смуглый, сухощавый, высокий. Глаза черные, а брови светлые, выгоревшие. Он родом с юга, из-под Анапы, и ехать в Чечню вызвался добровольно. Ему казалось, что здесь он будет ближе к дому.

Киселю двадцать два, и в армию его призвали на год после института. Он отлично сечет в физике и математике и умеет как нефиг делать раскладывать всякие там синусоиды. Да только что теперь в этом проку. Для него гораздо лучше было бы, если бы он научился мотать портянки. Кожа у Киселя белая и рыхлая, и он до сих пор стирает ноги в кровь. Через шесть месяцев у него дембель, и отправляться в Чечню он совсем не хотел, думал спокойно дослужить где-нибудь в средней полосе, поближе к своему родному Ярославлю. Но у него ничего не вышло.

Еще рядом с нами сидит губастый Андрюха Жих, самый маленький солдат в нашем взводе, прозванный за это Тренчиком (это такое маленькое кожаное кольцо, куда вставляется свободный конец солдатского ремня). Его рост не больше полутора метров, но лопают Андрюха за четверых. Куда деваются все, что он съедает, непонятно – все равно он остается маленьким и тощим, как сушеный таракан. Самое выдающееся в нем – огромные губы-вареники, которыми он может зачерпнуть за раз полбанки сгущенки и которые придают его мягкому краснодарскому говору шамкающий оттенок (у него получается «учшэбка»), и живот, раздувающийся в несколько раз, когда Тренчик жрет.

Справа от него – еврей Витька Зеликман, который больше всего на свете боится избиений. Мы все этого боимся, но тщедушный интеллигентный Зюзик переносит тумак особенно тяжело. За полгода армии Витька так и не смог привыкнуть к тому, что он – чмо бессловесное, черт канявый, животное, и каждый тумак повергает его в депрессию. Вот и сейчас он сидит и думает о том, как нас здесь будут бить – больше, чем в учебке, или меньше.

Последний в нашей группе – смурной Рыжий, здоровый, молчаливый парень с огромными ручищами и огненной шевелюрой. Точнее, это раньше у него была огненная шевелюра. Сейчас же его лысая солдатская башка словно посыпана красновато-желтой пылью, как будто кто-то точил над ним напильником медную трубу. Рыжий думает только о том, как бы поскорее сделать отсюда ноги.

Сегодня нам впервые удалось поесть как следует. Наш нынешний командир – чернявый майор, который орал на нас всю дорогу, – сидит довольно далеко, в центре этого поля, и мы, пользуясь моментом, потрошим свои сухпайки.

В поезде майор выдавал нам хавку из расчета одна банка тушенки на сутки, и за два дня пути у нас основательно подвело животы. Хлеб, который везли в отдельном вагоне, не успевали разносить на коротких остановках, когда наш эшелон пропускал встречные на запасных путях, подальше от людских глаз, и мы были все время голодными.

Чтобы не опухнуть с голодухи окончательно, мы меняли на жратву свои солдатские ботинки. Каждому из нас перед отправкой выдали по паре связанных шнурками парадных ботинок. «Интересно, где мы там будем маршировать?» – спросил Тренчик и первый сдал их за десять пирожков с капустой.

Ботинки брали у нас стационарные торговки из жалости. Завидев эшелон, они бросались к нам с пирожками и курочками по-домашнему, но, когда понимали, что за поезд стоит в запаснике, начинали причитать. Они ходили вдоль эшелона, крестили наши вагоны и брали у нас не нужные им ботинки и кальсоны в обмен на пирожки. Одна женщина подошла к нашему окну и молча протянула бутылку лимонада и килограмма полтора шоколадных конфет. Она обещала еще принести сигарет, но майор отогнал нас от окна и запретил высовываться.

Весь хлеб раздать так и не успели, и он заплесневел. Когда мы, выгрузившись из эшелона в Моздоке, проходили мимо последнего, хлебного, вагона, позеленевший кислый хлеб выбрасывали из него мешками прямо нам под ноги. Кто сумел, успел подхватить буханку.

Мы оказались в числе самых шустрых. Теперь наши желудки набиты свиной тушенкой, в которой жира, правда, больше, чем мяса (Рыжий уверяет, что это вообще не жир, а топленый солидол вперемешку с гуталином), и перловой кашей; кроме того, каждый из нас умял по целой буханке хлеба, и можно сказать, что сейчас мы довольны жизнью. По крайней мере на ближайшие полчаса она приобрела некую определенность, а загадывать дальше никто из нас не собирается. Мы живем одной минутой.

– Интересно, а нас прямо сегодня поставят на довольствие? – шамкает своими варениками Тренчик, засовывая вылизанную до блеска ложку за голенище сапога. Пообедав, он тут же начинает думать об ужине.

– А ты что, очень туда торопишься? – отвечает ему Вовка, кивая на хребет, за которым начинается Чечня. – По мне, уж лучше совсем без жарчки, лишь бы задержаться на этом поле подольше.

– А еще лучше насовсем, – поддакивает Рыжий.

– Может, мы и вправду будем печь булочки, а, пацаны? – снова интересуется Тренчик.

– Конечно, тебе бы этого очень хотелось, – отвечает ему Кисель. – Тебя только допусти до хлеборезки, ты за каждый свой вареник по буханке хлеба спрячешь и не подавишься.

– Хлеба не помешало бы, это верно, – довольно лыбится Жих.

В учебке чернявый майор говорил, что набирает команду в Беслан для выпечки хлеба. Он знал, чем нас купить. Оказаться рабочим на хлебозаводе – заветная мечта каждого «духа», то есть солдата, отслужившего меньше полугода. Мы – духи. Еще нас называют нехватурой, проголодами, желудками, обмороками, гоблинами – да как угодно. Голодуха в первые месяцы мучает особенно сильно, а те калории, что мы получали в учебке вместе с серой массой, называвшейся «каша ячневая сеченая», мгновенно выдувало ветром на плацу, когда сержанты устраивали нам послеобеденную прогулку. Нашим растущим организмам постоянно не хватало жратвы, и по ночам мы втайне друг от друга жрали в сортире зубную пасту «Ягодка», которая так аппетитно пахла земляникой.

Нас тогда построили в одну шеренгу, и майор у каждого спрашивал: «Хочешь служить на Кавказе? Езжай, чего ты. Там тепло, там яблоки». Но, когда он заглядывал в глаза, солдаты отшатывались от него. У майора в зрачках был ужас, а его форма пропахла смертью. Смертью и страхом. Он потел ими, и, пока шел по казарме, за ним тянулся невыносимый удушливый шлейф.

Мы с Вовкой сказали «да», Кисель сказал «нет» и послал майора вместе с Кавказом в придачу. Теперь мы втроем лежим на этой взлетке в Моздоке и ждем, когда повезут дальше. И все те, кто стоял в том строю, тоже сейчас лежат на взлетке и ждут.

Нас здесь полторы тысячи человек. Нам всем по восемнадцать лет.

Кисель до сих пор удивляется, как это нас так здорово облапошили.

– Ведь должен же быть рапорт, – доказывает он. – Рапорт – это такая бумажка, на которой я пишу: «Прошу Вас отправить меня в мясорубку для дальнейшего прохождения службы». Я ничего подобного не писал.

– Как это? – подначивает его Вовка. – А инструкции по технике безопасности, за которые майор просил нас расписаться? Помнишь? Ты хоть читал, за что расписываешься? Ты что, так ничего и не понял? Полторы тысячи человек, как один, изъявили желание грудью защищать конституционный строй своей Родины. А чтобы ей, и без того тронутой нашим порывом, было совсем хорошо, мы сказали ей: «Родина! Не надо переводить бумагу на отдельное согласие каждого. Мы поедем воевать списками. Пускай из сэкономленного таким образом дерева сделают мебель для сиротского дома, в котором будут содержаться чеченские дети, пострадавшие от нашего присутствия на этой войне».

– Знаешь, Кисель, – говорю я раздраженно, – ты мог бы вообще ни за что не расписываться и все равно оказался бы здесь. Приказано ехать подыхать, вот и езжай, чего ты выпендриваешься со своим рапортом! Дай лучше закурить.

Он протягивает мне сигарету, мы закуриваем.

На взлетке постоянное движение. Кто-то прилетает, кто-то улетает, раненые ждут попутного борта, около фонтанчика с водой толпятся люди. Каждые десять минут на Чечню уходят набитые под завязку штурмовики и возвращаются уже пустые. Вертушки греют двигатели, горячий ветер гоняет пыль по взлетке, и нам страшно.

Неразбериха ужасная: полно беженцев, они ходят по полю со своим барахлом и рассказывают жуткие вещи. Это счастливики, которым удалось вырваться из-под обстрелов. Гражданских не берут в вертолеты, но они захватывают борта штурмом и летят стоя, как в трамвае. Один дед прилетел на шасси – он привязал себя к колесу и висел так сорок минут от Ханкалы до Моздока. При этом умудрился притащить с собой два чемодана.

Уставшие летчики никому не дают никаких привилегий. Они безразлично выкрикивают фамилии, написанные в полетном листе, и запускают по списку. Им на все плевать. Сейчас идет запись на борта в Ростов или в Москву, которые, возможно, будут послезавтра, если их не отменят.

Оставшиеся места забивают ранеными. Каждый борт помимо груза может принять всего человек десять, и первыми отправляют самых тяжелых. Носилки с ними запикивают под ящики, ставят на мешки, кладут просто на пол – куда-нибудь, лишь бы приткнуться, лишь бы они улетели. Об них спотыкаются, скидывают с носилок. Одного раненного в живот капитана задевают ногой и вырывают из него дренажные трубки, кровь со слизью течет по люку и капает на бетон. Капитан кричит. Лужицу мгновенно облепляют мухи.

Бортов в Чечню тоже не хватает. Какие-то журналисты ждут почти неделю. Строители загорают здесь третьи сутки. Но мы чувствуем, что нас отправят еще сегодня, до захода солнца. Мы – не строители и не журналисты, мы – мясо, свежее пушечное мясо, и нас тут долго не задержат.

– Ведь как странно устроена жизнь, – рассуждает Кисель. – Я уверен, что журналисты готовы заплатить любые деньги, чтобы оказаться на следующем борту в Чечню, но их не берут. Я тоже готов заплатить любые деньги, чтобы остаться здесь, лучше насовсем, а еще лучше – оказаться как можно дальше отсюда, но меня отправят ближайшим же рейсом. Почему так?

Прилетает грузовая «корова». Сегодня утром наши штурмовали какое-то село, и весь день из Чечни везут раненых и убитых. Вот и сейчас пять серебристых мешков выкладывают на взлетке рядком, один за другим. Блестящие пакеты ослепительно горят на солнце, как конфетки. Они такие яркие, что не верится, будто в эти праздничные фантики завернуты разорванные в куски человеческие останки.

Поначалу мы никак не могли понять, что это. «Наверное, гуманитарная помощь», – предположил Вовка, когда увидел выложенные на бетон пакеты, но Кисель сказал, что гуманитарку везут туда, а не оттуда.

До нас дошло, только когда на взлетку выехал крытый брезентом «Урал». Из него выпрыгнули два солдата и стали грузить мешки в кузов. Они брали их за углы, мешки прогибались посередине, и мы поняли, что в этих красивых фантиках лежат мертвые люди.

На этот раз «Урал» не приходит. Убитые так и остаются лежать на бетоне. На них никто не обращает внимания, они словно принадлежат этой взлетке, как будто так и надо, чтобы в чужом южном городе, в высохшей степи, лежали убитые русские парни.

Появляются два солдата в обрезанных по колено кальсонах. Один несет ведро воды. Они протирают тряпками пол в «корове», и через полчаса вертушка, забитая под завязку, увозит в Чечню очередную партию. Здесь нас уже никто не кормит байками про булочки в Беслане.

Никто не говорит об этом, но каждый раз, когда над хребтом раздается тяжелое гудение шмеля, каждый из нас думает: «Неужели все? Неужели сейчас я?» В такие моменты мы все – по одному, каждый сам по себе. Оставшиеся облегченно вздыхают, когда «корова» увозит партию, в которой нет тебя. Значит – еще полчаса жизни...

На спине у Киселя большими буквами вырезано: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Каждая буква с кулак. Белые шрамы тонкие и аккуратные, но все равно видно, что лезвие входило глубоко под кожу. Мы уже полгода пытаемся выпытать у него происхождение этой надписи, однако Кисель нам так ничего и не рассказал.

Но сейчас, я чувствую, он заговорит. Видимо, Вовка тоже чувствует это и спрашивает:

– Кисель, а откуда у тебя все-таки эта надпись?

– Давай-давай, колись, – поддерживаю я Вовку. – Открой тайну, не уноси с собой в могилу.

– Придурок, – говорит Кисель. – Типун тебе на язык.

Он снова переворачивается на спину и закрывает глаза. Лицо его мрачнеет. Говорить ему не хочется, но, наверно, Кисель думает: а ведь вправду могут убить.

– Это Наташка, – через некоторое время нехотя произносит он. – Еще в самом начале нашего знакомства, мы тогда и женаты не были. Пошли вместе на одну вечеринку, танцы там, то да се. Ну, выпили, конечно. Я в тот вечер здорово накачался, нарядный был, как новогодняя елка. А утром просыпаюсь – вся простыня в крови... Думал, убью. А вместо этого, видишь, женился.

– Ничего себе у тебя женушка! – говорит Вовка. У него уже есть девушка, на три года моложе. Они там, на юге, быстро созревают, как фрукты. – Ее бы к нам в станицу, у нас бы вмиг вылечили. Вожжами. Попробовала бы моя такое выкинуть. Ты, небось, и пьяный домой прийти не можешь, сразу скалкой по башке получаешь?

– Нет, жена у меня смиренная, хорошая, – отвечает ему Кисель. – Что тогда на нее нашло, не знаю. Ничего такого больше не вытворяла. Говорит, влюбилась в меня с первого взгляда, вот и хотела привязать к себе накрепко. Кому ты, говорит, нужен такой, с моей печатью...

Он срывает еще одну травинку, задумчиво жует ее.

– У нас обязательно будет четверо детей, – говорит Кисель. – Да. Когда я вернусь, я обязательно наделаю четверых.

Кисель замолкает. Я смотрю на его спину. Мне думается, что он по крайней мере не будет числиться неопознанным и лежать в тех рефрижераторах, которые мы видели сегодня утром на станции. Если, конечно, у него останется спина.

– Кисель, – спрашиваю я, – а ты боишься умереть?

– Да, – говорит Кисель. Он у нас самый старший и самый умный.

Солнце светит через веки, мир становится оранжевым. От тепла по коже бегут мурашки. Я никак не могу привыкнуть к этому. Еще позавчера мы были в заснеженном Свердловске, а тут жара. Из зимы нас привезли сразу в лето. Весны не было, потерялась по дороге.

Нас набивали по тринадцать человек в плацкартный кубрик; духота и вонь, с верхних полок свешиваются босые невымытые ноги. На полу, под столиком, день и ночь, скукожившись, спят двое – места на всех не хватает, и мы меняемся по очереди. Куда ни глянь – везде сапоги, вещмешки, шинели. Это даже хорошо, что майор не кормил нас, – полтора суток мы ехали сидя, скорчившись в позе эмбриона, и если бы хоть раз наелись от пуза, заработали бы непроходимость кишечника.

В Ростове-на-Дону наш поезд остановился напротив вокзала. Мы стояли на первом пути, прямо у центрального входа, и люди проходили мимо нашего эшелона и отводили глаза.

Под топодем пьют водку легкораненные. Водку они выменивают в кочегарке, пытаются залить алкоголем страх, который пережили там, за хребтом. У них безумные глаза и почерневшие лица. Час назад в них стреляли и убивали, а теперь они пьют водку и могут не пригнаться. До них это пока не доходит. Они кричат, и плачут, и глушат водку ведрами. Смотреть на них невыносимо.

Мы не первые на этом поле. До нас здесь были десятки тысяч таких, ждавших своей судьбы, и степь впитала их страх, словно пот. Сейчас этот страх выходит из отравленной земли. Он заполняет наши тела и ворочается скользким червяком где-то под желудком, и от него становится холодно, несмотря на палящее солнце. После войны это поле надо будет чистить от страха, как от радиации; он висит над полем, будто туман.

Рядом с нами группками лежат гражданские строители. Ближайшая к нам компания пьет неразбавленный спирт и закусывает лоснящимся прозрачным салом. Среди них есть женщина, молодуха с красным осоловелым лицом и жирными губами. Мы уже знаем, что ее зовут Марина. Мы совсем отвыкли от гражданской жизни, от женщин, и втихаря разглядываем ее.

У Марины большая грудь и толстая задница. Это обстоятельство сильно восхищает Андрюху Жиха, он все время стонет и шамкает своими огромными губами. Тот не солдат, кто не похабничает, и все мы строим из себя бывалых ловеласов, но, по правде сказать, мало кто из нас до армии целовался. А по-настоящему с женщиной был только Кисель.

Марина предлагает Тренчику выпить. Он соглашается, бахвалясь, хлопает в один присест кружку спирта и через пять минут валяется на траве в бессознательном состоянии. Мы оттаскиваем его в тень. Марина предлагает выпить и нам, но мы отказываемся.

– Интересно, зачем они здесь? – спрашивает Вовка.

– Грозный летят реставрировать, – отвечает Кисель. – Война заканчивается, перемирие на носу.

– Так там же бомбят, вон штурмовики, – говорит Рыжий, кивая на очередную пару Су-25, которая вырывается на взлетку.

Самолеты готовятся к разгону, лопасти сопел сжимаются и разжимаются. Вовка считает, что в этот момент они похожи на задницу какающего червяка. Не знаю, где он наблюдал какающих червей, но сравнение весьма убедительное.

– Почему ты думаешь, что штурмовики на Грозный? – резонно спрашивает Рыжего Кисель. – И потом, строителям-то какая разница! Чем больше разбомбят, тем больше им восстанавливать – за тройной оклад. Сейчас перемирие, боевые действия не ведутся, вот их и везут строить между делом.

– Откуда ты знаешь про перемирие?

– По телевизору показывали.

– По телевизору много чего показывают.

– Войны больше не будет, – не унимается Кисель, но теперь он говорит с издевкой. – Отдельные банды разбиты, конституционный строй восстановлен, и благодатный мир сошел на многострадальную кавказскую землю.

– Аминь, – говорю я.

– А нас тогда зачем везут, раз перемирие? – недоумевает Рыжий. – И на станции танки стоят, целый эшелон, я сам видел. Их же там поубивают всех, – кивает он на строителей.

– Что-то я тоже не пойму, – говорю я. – Если там перемирие, почему оттуда везут трупы? По-моему, либо трупы, либо мир, вместе не бывает.

– Бывает, – говорит Кисель. – У нас все бывает.

Очередная «корова» тяжело тыкается колесами в бетон. На этот раз и из нее выгружают раненых. Их кладут на носилки и бегом несут в полевой госпиталь, развернутый тут же, рядом с вертолетными капонирами.

Одного проносят мимо нас. Это светловолосый парнишка; его перебитая ниже колена нога в коротком, по-демпельски обрезанном кирзовом сапоге висит на штанине и волокнах икроножной мышцы. Из мяса торчит кость. Сквозь ногу видно небо. От шага солдат носилки сильно раскачиваются, нога в тяжелом кирзаче оттягивается, перекручивается, как волчок на веревке: носилки вверх – нога вниз, вверх – вниз... Мне кажется, что сейчас она оторвется, и я даже делаю движение руками, чтобы подхватить ее за ступню. Вывернутое наизнанку мясо облеплено комочками присохшей земли.

Раненый не чувствует боли, его обкололи промедолом. От него сильно пахнет горелой кирзой и портянками. И еще – свежатиной, только что разделанным парным мясом.

Из госпиталя время от времени раздаются нечленораздельные нечеловеческие крики. Иногда из боксов выносят окровавленные гнойные бинты и выбрасывают в помойную яму. Тогда над ямой густым облаком взмывают жирные мухи.

После раненых из вертушки начинают выгружать красивые серебристые пакеты. К пятерым, оставшимся с прошлого раза, двое полуголых солдат приплюсовывают еще восьмерых.

Появляется «Урал».

Жарко, и солдаты работают в одних кальсонах и тапочках. Так буднично, так обычно. Жара, заваленная трупами взлетка, и двое солдат в обрезанных по колено кальсонах, которые грузят мертвых людей в мешках, как картошку...

Между тем солдаты выкладывают убитых в кузове вдоль бортов, а когда места на полу уже не остается, начинают пристраивать их вторым ярусом. Последнего кладут на оставшийся посередине проход, запрыгивают в кузов, и «Урал» трогается по направлению к станции. Утром мы видели там на запасных путях рефрижераторы. Теперь мы знаем, для чего они.

Праздничные мешки в кузове трясутся в такт движениям машины, деревянно подпрыгивают на кочках, и солдаты прижимают их к полу ногами.

Тем временем вертушка загружается новой партией свежего пушечного мяса в не помятом еще зимнем обмундировании. Молоденькие солдаты друг за другом вбегают в грузовой люк «коровы», путаясь в полах шинелей. У одного развязывается вещмешок, и на землю сыплются пачки сигарет. Последнее, что я вижу в темном чреве «коровы», – растерянные солдатские глаза. Они смотрят прямо на меня.

Вертушка завывает винтом, взлетает, идет в сторону хребта и туда, дальше, где война. Этот конвейер работает с самого утра, сколько мы здесь находимся: оттуда – трупы, туда – солдаты в новых шинелях, но все так четко, так отлажено, что мы понимаем: вертушки летают уже не один день и даже, наверное, не один месяц.

– Пидоры, – говорит Кисель. – Все они пидоры.

- Да, – говорю я.
- Пидоры, – соглашается Вовка.

Я стреляю у Киселя еще одну сигарету. Противная кременчугская «Прима» в жару идет с трудом. Вовка говорит, что к табаку примешан конский навоз: у него из конюшни воняло точно так же, как из пачки. А гадила лошадь такими же неперевавленными бревнами соломы, какие попадаются в сигаретах. После двух затяжек во рту становится сухо. Вовка тушит свою сигарету о землю и наматывает портянки.

- Пойду за водой, – говорит он. – Давайте фляжки.

Мы отдаем ему все наши фляжки – семь штук, у меня одна запасная, я украл ее в каптерке в Свердловске.

Вовка уходит. Раньше, чем через полчаса, он не вернется, около фонтанчика толпа, и, чтобы напиться, надо отстоять длинную очередь.

Я вижу, как Вовка, проходя мимо чернявого майора, который сидит на земле в самой середине нашей команды, заглядывает ему через плечо в бумаги, которые тот держит в руках. Это наши личные дела. Майор раскладывает их на две стопки, словно Господь Бог судьбы. Одна стопка большая, другая маленькая, и мы понимаем, что маленькая загрузится сейчас в «корову» и полетит на Ханкалу или в «Северный», а другая останется здесь. Пусть ненадолго, пусть на какие-то часы, может, только до следующего борта, но пока еще здесь. И каждому хочется, чтобы его судьба легла в большую стопку, каждому хочется задержаться подольше.

Я тушу сигарету, ложусь на спину и закрываю глаза.

- Кисель, – говорю я, – ты обещал мне дать аккорды «Старого отеля» Агузаровой.
- Записывай!

Я достаю из нагрудного кармана красный самодельный блокнот, вырезанный из толстой тетради, и ручку. Кисель диктует:

– Город плывет в море ночных огней... Здесь Ам... Город живет счастьем своих людей... Dm, E, Am. Старый отель, двери свои открой. Старый отель, в полночь меня укрой...

Я записываю.

Ярко светит солнце, поют птицы. Степь оглушает, сбивает с ног ароматами сочной травы и абрикосов. Жизнь – вот она, здесь – яркая, солнечная, поющая, и мы только просыпаемся, и все у нас должно быть хорошо, все должно быть отлично. Не верится, что в такой красивый сочный день на взлетку садятся эти чертовы вертушки и люди выгружают трупы, а потом раскладывают их рядом на солнце. Хочется, чтобы здесь любили и рожали, а не убивали друг друга. Война должна идти там, где плохо, а не там, где хорошо. Она должна идти за полярным кругом, где жизнь угрюмая и мрачная и по полгода не бывает солнца. Мы не верим, что нас привезли в это начало рая, где пахнет абрикосами, чтобы расфасовать в серебристые пакеты.

Вовка возвращается. Он стоит с полными фляжками в руках, смотрит на меня и ничего не говорит.

- Чего стоишь-то? – спрашиваю я его. – Давай воду, пить охота.

Он, не глядя, протягивает мне мокрую фляжку. Вода теплая, невкусная, сильно пахнет хлоркой. От выпитой воды под мышками сразу выступает испарина.

Вовка садится рядом. Он не смотрит на меня, ковыряет сапогом землю. Я понимаю: что-то изменилось там, где сидит майор, что-то произошло.

- Тебя забирают, – наконец говорит Вовка.
- Одного? А как же вы? Как же я без вас?
- Тебя отправляют, а мы с Киселем остаемся.

Я смотрю на Вовку, и мне кажется, что он меня разыгрывает. Ну конечно, это шутка, кто же разлучит нас! Мы никогда не были по одному, мы всегда были вместе и будем вместе до самого конца, до самого дембеля или... Ведь здесь нельзя разлучать людей, на этом чертовом поле, здесь один шаг до войны, именно здесь, сейчас вот, и проходит наше боевое слаживание, мы становимся братьями друг другу, мы переживаем первый в нашей жизни совместный страх, первую тоску, неопределенность, ожидание; к нам приходит уверенность в том, что мы выживем, и осознание непоправимости смерти...

Но Вовка не шутит. Черт, зачем я вызвался ехать сюда? Зачем мы вообще нужны здесь? Почему я должен теперь встать, обуться, пойти и умереть, не оставив после себя ничего, кроме растерянных глаз в захлопывающемся чреве «коровы»?

Все это неправильно. Так не будет. Так не должно быть.

Я старательно наматываю портянки и стараюсь не смотреть на Киселя, которой стоит в одних штанах и шевелит пальцами босых ног, и на сидящего рядом Вовку.

Мы втроем думаем об одном и том же. Меня забирают, а они остаются.

Я вдруг чувствую сильную злобу на Киселя. Меня раздражают его белые мясистые ноги, буквы на спине, руки в карманах брюк. Он словно предал меня, бросил. Я понимаю, что в этом нет его вины, но все равно злюсь на него. Я ничего не могу с собой поделать. Кисель был самым старшим из нас, самым опытным, мы всегда чувствовали его покровительство, его советы были самыми дельными, а решения – самыми правильными. Он был нашим старшим братом, и мы искали у него защиты.

И вот теперь Кисель остается в тылу, а я улетаю. Один.

Мы не смотрим друг на друга. Мы больше не вместе. Я сам по себе.

– Ну ладно, Кисель, – говорю я и протягиваю ему руку. – Пока.

Кисель вдруг начинает спешно одеваться.

– Я пойду с тобой, – говорит он. – Я пойду с тобой и попрошу майора, чтобы он меня тоже отправил. Мы должны быть вместе. Куда ты, туда и я. Не хочу больше оставаться здесь.

– Кисель, – говорю я, – не надо. Ты же не хочешь лететь. Может, правда, будешь печь булочки в Беслане.

– Нет, нет, – запинаясь, быстро-быстро тараторит Кисель. – Ты что, еще ничего не понял? Никто не останется, мы все летим туда, здесь никто никогда не остается. Какие булочки, посмотри, тут же тысячи три человек, мы всю страну завалим булочками! Это транзитное поле – либо туда, либо оттуда, нас привезли сегодня, чтобы отправить в Чечню; нас всех родили, вырастили и воспитали только затем, чтобы сегодня отправить в Чечню. И я хочу быть с тобой.

– Я тоже, – говорит Вовка, – я тоже пойду с вами к майору.

Кисель, умная голова, в один момент взял и расставил все по своим местам.

Я неожиданно для себя вдруг хлюпаю носом, глаза мои становятся влажными. Хорошо, что они снова со мной.

Мы втроем идем к майору. Он все так же сидит на земле и раскладывает личные дела. Отдельно ото всех лежит еще одна маленькая стопка, дел пять, не больше, и я успеваю прочесть свою фамилию.

Я докладываю майору о прибытии. Он не поднимает головы, бросает коротко:

– Сформирована команда из пяти человек. Будете служить в Моздоке, как я и обещал. Стойте здесь, сейчас за вами придет сопровождающий офицер. Всё.

Раз – и поменял все майор местами. Теперь, оказывается, я остаюсь.

Мне начинает надоедать эта катавасия.

– Товарищ майор... – говорю я. – Товарищ майор, разрешите обратиться. Нас трое.

– Что? – спрашивает он.

– Нас трое. Я, Татаринцев и Киселев. – Я понимаю, что майор уже ничего менять не будет, ему нет до нас никакого дела. Ему все равно, кто полетит, а кто останется. Но вдруг он все же сжалится, вдруг заменит меня, я же не в тыл прошусь, наоборот.

– Товарищ майор, мы с самого начала вместе, с самой учебки, мы очень сильно сдружились за это время и хотим продолжить службу в одной части. Товарищ майор, я вас прошу отправить меня в Чечню, а вместо меня оставить здесь Киселева.

– Все это глупости, – говорит майор. – Я с солдатами много общаюсь и знаю, что дружба для вас ничего не значит. Для вас имеет значение только землячество, а земляков у вас, Бабченко, в этом эшелоне нет. Вы один. Поэтому вам все равно, где служить.

– Товарищ майор, ну пожалуйста...

– Солдат! Вы что, не поняли? Вы остаетесь здесь, в том составе, который я назначил! Свободны.

– Товарищ майор...

– Всё!

Кисель с Вовкой стоят на колючей траве, такие маленькие посреди этого поля. Они растеряны; наверное, впервые за все это время Киселю нечего сказать.

Я подхожу, обнимаю его:

– Пока, Кисель.

– Пока, – говорит он. – Хорошо, что я успел дать тебе аккорды. Хоть что-то останется на память.

Вовка свинчивает с груди значок классности – синего цвета щит с дубовым венком и цифрой три посередине – и протягивает мне:

– На, возьми. Пускай будет у тебя.

Я взамен отдаю Вовке свой значок.

– Жалко, что все так получилось, – говорю я.

– Да, – говорит Вовка.

– Да, – говорит Кисель.

Я остро чувствую свое одиночество. Как же я теперь без них?

Над нами снова пролетает вертушка. Мы задираем головы, провожаем ее взглядом. Наверное, это наша. Точнее, их. Сейчас они загрузятся и улетят.

А я остаюсь. Один.

Я ухожу и все время оборачиваюсь, смотрю, как они стоят на этом поле, засунув руки в карманы штанов и наклонив головы, – мясистый плотный Кисель и загорелый худощавый Вовка. Я знаю, что мы больше не увидимся.

Все это какое-то преступление.

Нас подводят к машине. Мы становимся перед кузовом в колонну по двое и ждем команду к погрузке.

– Это тот же «Урал», – вдруг говорит стоящий первым в колонне Андрюха Жих. – Парни, это тот же «Урал», в котором они трупы возят.

Он оборачивается и поочередно смотрит на каждого из нас вытаращенными глазами, как будто ждет, что мы взбунтуемся, или отменим поездку, или отправим его домой. Он еще не протрезвел, и его осоловелые глаза кажутся сейчас особенно большими.

– Откуда знаешь? – спрашивают его из задних рядов.

– Я дырку в брезенте запомнил. – Тренчик показывает на крупную прореху в форме морской звезды. Такую не спутаешь.

Мы смотрим на прореху и не знаем, что нам делать. Наши сомнения разрешает офицер сопровождения.

– По машинам! – коротко бросает он на ходу, и мы лезем в «Урал».

Мне кажется, что здесь пахнет, но это не так – обычный для машины запах солярки и масла, больше ничего нет.

Асфальт убегает из-под кузова, взлетка стремительно удаляется, ее закрывают деревья. Вдруг в просвете листвы я вроде бы вижу Вовку и Киселя – они все так же стоят посреди поля и машут мне руками. На всякий случай я машу им в ответ, но это уже мало беспокоит меня – они были моими друзьями, но их нет больше. Больше нет этой взлетки, этого ожидания, наступающего, хватающего за горло страха, войны. Все осталось там, все решено. Мне жалко Киселя с Вовкой, но жалость эта отстраненная, как в воспоминаниях о детстве, скорее даже не жалость, а тоска.

Я чувствую себя дезертиром, но на душе полегчало. Господи, меня не погрузят в вертушку! Теперь самое главное – уехать подальше отсюда, подальше от этой взлетки. Самое страшное уже позади. Я крепко держусь за дуги, стараясь не упасть на пол, на котором лежали мертвые люди.

Моздок-7

Дверца кабины хлопнула. По гравию захрустели шаги водилы.

– Вылезайте, – откидывает он задний борт, – приехали.

Нас в кузове пятеро. Я, Андрюха Жих по кличке Тренчик, Осипов, Рыжий и маленький еврей Витька Зеликман. Мы пригрелись в темноте брезента, и вылезать нам не хочется.

– Ну чего расселись, пидоры! – орет водила. – Я, что ль, выкидывать вас буду?

Мы подчиняемся. Я выпрыгиваю первый.

Наш грузовик стоит на средних размеров плацу. Все как обычно – трибуна, казармы по периметру, столовая, несколько чахлах деревьев. Под козырьком подъезда курят несколько дембелей, разглядывают нас. И жара.

Вокруг плаца работают солдаты в болотного цвета гимнастерках и широченных галифе. Такую форму носили наши деды во времена Второй мировой. Солдат много, совковыми лопатами они раскидывают гравий. На их лицах – покорность и отупение. Пыль поднимается стеной и оседает на босых ногах солдат. У некоторых пальцы ног расчесаны в кровь, сгусточки крови стекают по пыльным ногам и свертываются на камнях. Но никто не отвлекается от работы. Слышен только шорох гравия. Солдаты работают безропотно, словно военнопленные в концлагере.

Мы стоим посреди плаца, и на нашу новую форму и блестящие сапоги оседает пыль. Я замечаю это краем глаза и думаю, что теперь мои сапоги всегда будут серыми.

– Почему они босиком, а? – спрашивает Рыжий. – Мужики, почему они босиком?

– Блин, куда мы попали! – шепчет Зеликман. – Это армия?

У Витьки Зеликмана близорукие глаза, больше всего он похож на маленькую забитую лошадку. Мы все боимся побоев, но образованный, начитанный Зюзик переносит тумачи особенно тяжело; за полгода учебки он так и не смог приучить себя к боли, не смог привыкнуть, что он – дерьмо бессловесное, чмо, тварь поганая. А ведь здесь нас будут избивать безбожно, дедовщина в этом полку просто махровая, это видно сразу. Там, за хребтом, происходит что-то страшное, до солдат никому дела нет.

– А чего ты хотел, это же не учебка, а линейная часть, – отвечает ему Жих. Он озирается по сторонам, ему тоже явно не по себе.

К нам подходит незнакомый капитан.

– Пошли, – коротко бросает он и ведет нас вдоль плаца.

Мы молча следуем за ним, построившись в колонну по двое. Босые солдаты кидают гравий.

Капитан отводит нас в штаб, который располагается за угловой казармой на пустыре. Восемь «бабочек», специальных штабных машин, накрытых маскировочной сетью, образуют короткую улицу.

Здесь людно. Много легкораненых в свежих бинтах. Слышны разговоры про боевые надбавки, командировочные и выплаты «смертных». Один лейтенант с висящей на перевязи забинтованной рукой все пытается выяснить насчет единовременного пособия по ранению. Он хватает каждого подошедшего за рукав, почти орет, сильно заикаясь из-за контузии (из уха торчит кусочек ватки с бурой запекшейся кровью), но никак не может закончить вопрос, машет рукой и отходит в сторону. Лейтенант похож на пьяного, у него очумелый жесткий взгляд, и иногда его вдруг резко качает в сторону. Из-под бинтов видны грязные пальцы с нестриженными ногтями. Лейтенант растирает пальцы, иногда шевелит ими и морщится от боли.

Капитан подводит нашу группу к одной из «бабочек». Нас заносят в списки части и ставят на довольствие.

– Смотри, – вдруг трогает меня за рукав Тренчик.

На пустыре, между казармами и штабом, стоят две БМП, спрятанные под брезент. Одна укрыта не полностью, из-под тента свисает порванная гусеница и видна часть катка. Каток обгорелый, черная обуглившаяся резина закрутилась на нем шкварками. Башня у бэхи оторвана.

– Видел? – говорит Тренчик. – Ты думаешь, они...
Я ничего не думаю. Меня начинает тошнить.

Темнеет. Мы сидим на табуретках около открытого окна. Капитан привел нас из штаба в казарму и приказал ждать. Больше к нам никто не подошел. Мы и ждем. Чего – сами не знаем. Наверное, отбоя – уже половина десятого вечера. Кроме нас, в казарме никого нет, ни солдат, ни офицеров. Весь день мы провели на табуретках.

– Черт, жрать как хочется, – говорит Осипов. – Интересно, нас завтра утром кормить будут?

– Не положено, – отвечает ему всезнающий Тренчик. – Довольствие нам выпишут только через сутки, то есть завтра к ужину.

Мы и сами знаем, что не положено, но жрать хочется так, что пупок уже присох к позвоночнику.

Из окна сильно пахнет травой, стрекочут цикады. Степь начинается сразу за казармой и тянется до самого хребта, еле выделяющегося теперь на фоне черного неба. Днем туда парами уходили вертушки. Сейчас со взлетки на ночную бомбежку улетают тяжелые штурмовики. Чечню бомбят круглосуточно, гул разрывов докатывается даже до нас. Иногда видны и вспышки.

Тренчик впервые видит, как взлетают самолеты в темноте. Его завораживает это зрелище. Огонек сопла разгоняется по взлетке – все быстрее, быстрее, затем рев перекрывает все звуки, и вот уже самолет поднимается в небо, делает круг над Моздоком и, дождавшись ведомого, уходит на Чечню. Я думаю о том, что это взлетает чья-то смерть, каждый из этих легчиков уже убил хоть одного человека и непременно убьет еще. Может быть, даже сейчас, сегодня ночью.

В полку начинается вечерняя прогулка. Одинокaя рота, очень плохо укомплектованная, человек сорок, не больше, выходит из казармы и строем ходит по плацу. Это те самые солдаты, которые сегодня босиком кидали гравий. Они все еще без сапог, им выдали солдатские тапочки – кусок резины на двух дерматиновых ремнях, пришитых крест-накрест. Эти тапки очень неудобные и не предназначены для маршировки, можно сильно стереть ноги.

– Рота! – командует выгуливающий молодняк сержант, и рота отзывается на команду тремя строевыми шагами. Тапочки хило шлепают по плацу, четкого шага не получается. У некоторых они срываются с ноги и отлетают к бордюрам. Солдаты маршируют босиком.

– Отставить! – орет сержант. – Вы что, пидоры, строем ходить не умеете? Я вас сейчас научу! Рота!

Снова три строевых шага, и снова ничего не получается. Теперь уже почти полроты босы, солдаты стучат по асфальту пятками.

– Рота! – еще раз командует сержант, и солдаты опять со всей силы долбят пятками плац, морщась от боли.

– Гад! Они же так ноги совсем разобьют! – говорит Осипов. – Кость загниет, потом же не залечишь.

Андрюха знает, что говорит. Ноги у него гниют уже полгода, и каждая смена белья для него мука. Кальсоны присыхают к мясу, и ему приходится их отдирать. К вечеру у него в сапогах накапливается по полстакана гноя с лимфой. Но в госпиталь Андрюху не кладут, потому что такая беда у всех – в армии гниет каждый. Обычное дело. Вечная солдатская напасть – стрептодермия. И у меня, и у Зюзика, и у Тренчика ноги покрыты гнойными язвами. Но у Андрюхи на обеих ногах кожи нет от колена до самой пятки.

– А чего их так мало? – спрашивает Витька.

– Скоро будет еще меньше, – мрачно бурчит Осипов. – Этот гад сейчас полроты в госпиталь отправит.

– Запевай! – командует сержант.

В строю запевают. Красивый высокий голос взлетает над марширующей ротой, парень поет здорово, у него явный талант, и странно слышать этот совершенный голос посреди мертвого плаца, по которому марширует полурота босых избитых солдат.

– Может, тоже пойдем на прогулку? – предлагает Витька. – Вдруг нас потеряли? Вдруг сейчас командир полка на вечернюю поверку придет?

Мы сильно сомневаемся, что кто-то заинтересуется нами, вряд ли сейчас в полку вообще есть хоть один офицер, но на всякий случай решаем спуститься на плац – авось за прогулкой все же кто-то наблюдает из штаба. Несколько минут маршируем впятером. На плацу уже никого нет, все разошлись, пехотная рота тоже ушла.

– Эй, бойцы, идите-ка сюда, – зовут нас от одного из подъездов.

– Догулялись! – шипит Тренчик на Зеликмана. – Сейчас нам навешают. Надо было сидеть и не высовываться! Не пойдем никуда, сворачивай в казарму.

Мы игнорируем крики и, делая вид, что они относятся не к нам, очень быстро идем в казарму. У подъезда ржут.

Мы влетаем на второй этаж, быстро умываемся, не зажигая света, и ложимся спать. Простыней под одеялами нет, наволочки на подушках тоже отсутствуют. В матрасах столько пыли, что руки и лицо моментально становятся грязными.

Мне снятся вертушки. Они неслышно кружат высоко в небе над Москвой, над Таганкой, над моим домом, и из них весело сыплются серебристые листовки. Люди радуются, тянут руки вверх и хватают эти листовки. Моя мама стоит на балконе и тоже протягивает руки в небо. Она хочет поймать листовку с моим портретом, но меня болтает туда-сюда, как бабочку-капустницу, и относит в сторону. Я улыбаюсь. «Мама, – говорю я, – что ты делаешь? Это же не листовки, это пакеты с трупами, разве ты не видишь? Разве вы все не видите, сколько нас, мертвых. Ведь там идет война, а вы ничего об этом не знаете. Почему?» «Я знаю, – говорит мама. – Тебя уже убило». «Нет, я пока еще живой. Помнишь, я писал тебе, что я живой и меня не убьет. Я пока еще в казарме, мама, и у меня все хорошо. Здесь много людей, я не один, у нас все в порядке. Вот, посмотри». Казарма наполняется шумом, гулом, хлопают двери, какие-то люди ходят по расположению, включают свет, бренчат оружием. Я осознаю это сквозь сон, думаю, что это мне все еще снится. «Вот видишь, мама, это все мертвые. Они были в Чечне. А я еще в Моздоке, я живой...»

В следующий момент меня спихивают ногой с кровати, и я лечу на пол. На меня сверху падает Осипов.

– Встать, сука!!! – орет кто-то над нами.

– Мы вскакиваем как ошалелые и вытягиваемся по стойке смирно. Осипов тут же получает удар в челюсть, меня бьют ногой в ухо. Падая, я еще успеваю заметить, как Зюзика метелят головой о дужку кровати, потом получаю пыром в солнечное сплетение и, ничего уже не соображая, лечу на пол, пытаюсь глотнуть воздуха...

Первый раз меня избili девятого мая. Тогда в казарме творился сущий беспредел.

Нас спихивали ногами с кроватей и били всю ночь. Под утро, когда разведчики устали, они заставили нас присесть. «Длинный, считай», – сказал тогда Боксер, и я считал вслух. Мы с Осиповым присели больше всех – триста восемьдесят четыре раза. Мы приседали, плотно прижавшись друг к другу, а наш смешавшийся пот стекал по ногам и капал на некрашенные доски пола, и вскоре под ногами образовалась лужа. У Андрюхи по ногам тек еще и гной с

кровью – открылись язвы. Мы приседали около часа. В конце концов Боксеру это надоело, и он свалил нас двумя короткими ударами.

С тех пор меня били все, начиная от рядового и заканчивая заместителем командира полка подполковником Пилипчуком. Или попросту Чаком. Меня не бил еще только генерал. Наверное, потому, что в нашем полку генералов нет.

Сейчас ночь. Я сижу на крыльце казармы, курю и смотрю, как на взлетке разгоняются и взлетают штурмовики. Возвращаться в казарму мне никак нельзя. Сегодня к вечеру я должен принести Тимохе шестьсот тысяч рублей, а у меня их нет и достать негде. Я получаю восемнадцать тысяч, но на эти деньги могу купить разве что десять пачек папирос. В стране инфляция, и деньги все время дешевеют. Как и наши жизни.

Якунин и Рыжий знают, где достать шестьсот штук, но никому не говорят. Они скоро сбегут, каждый, кому удастся достать денег, сбегает из этого полка, с этой чертовой взлетки, на которую все время садятся закопченные вертушки. Мы неразделимы с этим полем, и рано или поздно все окажемся на нем. Я уже знаю это.

В нашей роте осталось всего восемь человек. Пятеро нас и трое местных – Мутный, Пиноккио, или Пинча и Харитон.

Мы живем вместе с разведротой, и разведчики считают нас своими личными рабами и дробят почем зря.

Я сплевываю табачную крошку на асфальт. Слюна соленая, с кровью – зубы давно разбиты и качаются. Я не могу есть твердую пищу, с трудом жую хлеб. Когда в столовой вместо хлеба выдают сухари, я ем только суп. У нас у всех так. Мы не можем жевать, не можем вдохнуть во всю грудь – грудина намята дембельскими кулаками настолько, что превратилась в один сплошной синяк, и мы дышим по чуть-чуть – частыми короткими вдохами.

– В армии тяжело только первые полгода, – считает Пиноккио, – а потом просто не больно.

Нас привезли в этот полк три недели назад. Три недели, а кажется, уже вечность.

Черт, если бы только мне удалось уговорить тогда майора положить мое дело в другую папку, все было бы по-другому! Но майор положил мое дело в ту папку, в которую положил, и вот я здесь. Может, это и к лучшему. Может быть, Кисель с Вов кой уже мертвы, а я все еще жив. Я прожил еще три недели – чертовски большой срок, мы уже знаем это.

На взлетке разгоняется очередная пара штурмовиков. Интересно, зачем летчики-то воюют? Их же никто не заставляет. Они – не я, они свободны. Я уехать отсюда никуда не могу, мне служить еще полтора года. Поэтому я сижу на крыльце и смотрю, как штурмовики готовятся к разгону. И думаю, что сказать Тимохе, чтобы он меня бил не так сильно.

Самолеты взлетают с ревом, от которого в казарме дрожат стекла, делают разворот и уходят двумя светящимися точками в ночь.

Я затягиваюсь в последний раз, тушу сигарету и поднимаюсь на второй этаж.

– Ну что, принес? – спрашивает меня Тимоха, длинный смуглый парень с большими телячьими глазами. Он сидит в каптерке, положив ноги на стол, и смотрит телевизор. Я стою перед ним, глядя в пол, и молчу. Стараюсь не раздражать его. Когда тебя спрашивают о том, чего ты не сделал, самая лучшая тактика – стоять и покорно молчать. Это называется «включить дурачку».

– Чего молчишь? Принес?

– Нет, – отвечаю я чуть слышно.

– Что? Не принес?

– Нет, – говорю я.

– Почему?

– У меня нет денег.

– Я не спрашиваю тебя, есть ли у тебя деньги, пидор! – орет Тимоха. – Мне плевать, что у тебя есть, а чего нет! Я спрашиваю, почему не принес шестьсот штук?

Он встает и бьет меня кулаком в нос, снизу вверх, сильно. В переносице чавкает, губе становится тепло и липко. Я слизываю кровь и сплевываю ее на пол. Второй удар приходится под глаз, потом в зубы. Я со стоном падаю. Не сказать, что смертельно больно, но лучше стонать как можно чаще и сильнее, тогда избиение быстрее заканчивается.

На этот раз Тимоха разгорячился не на шутку. Он бьет меня ногами и орет:

– Почему не принес деньги, пидор? Почему не принес деньги?

Он заставляет меня отжиматься, и на подъеме бьет нечищеным берцем² по зубам. Удар сильный, голова запрокидывается до самых лопаток, и на мгновение я теряю ориентацию, левая рука подламывается, я падаю на локоть. Из разбитых губ на пол обильно течет кровь. Я сплевываю кровь и гуталин, который сошкрябал зубами с Тимохиного берца.

– Считай! – орет он.

Я отжимаюсь и считаю вслух. Брызги крови летят на пол. По телевизору идут новости, что-то рассказывают про Чечню. Во Владикавказ с проверкой прибыл командующий армией. Он остался доволен боевой подготовкой и дисциплиной в войсках. Завтра командующий собирается посетить наш полк, проверить дисциплину у нас. Наверное, он останется доволен боевой и дисциплинарной подготовкой и в нашем полку тоже.

Наконец Тимоха устает. Приказывает принести тряпку и стереть кровь. Я тру доски, но кровь уже успела впитаться в дерево, остается довольно-таки заметное пятно.

– Ты чего, пидор, поपालить меня хочешь? – шипит Тимоха и ударяет меня ладонью в лоб. – Какого хрена ты тут все своей бл...ской кровью забрызгал, ишак? Оттирай давай! Даю тебе еще неделю срока, понял? Через неделю я уезжаю в отпуск. Если денег к тому времени не будет, я вернусь и убью тебя. Время пошло.

Я иду в расположение и сажусь на кровать. Надо протянуть еще неделю. Из отпуска Тимоха вернется месяца через два-три, никак не раньше, раньше никто не возвращается, а три месяца – это огромный срок, это почти полжизни, и что произойдет за это время, неизвестно.

Я забираюсь под пыльное грязное одеяло. Из шестидесяти коек в пустой казарме расправлены только четыре – Зюзика, Тренчика, Осипова и Якунина. Рыжего нет.

– Бил? – шамкает Тренчик из-под одеяла. От побоев его губы стали похожи на два фиолетовых вареника.

– Бил, – говорю я и мажу под глазом зубной пастой.

Этому мы научились еще в учебке, проверенное средство от синяков. Если завтра глаз распухнет, Тимоха изобьет меня еще сильнее: скажет, что я стукач и таким образом хочу сдать его. Хотя в нашем полку нет ни одного молодого, кто ходил бы с чистым лицом.

Разбитые губы ноют даже во сне.

Я мою пол, я – дневальный. В каптерке еще с вечера пьют офицеры. Командир разведроты, лейтенант Елин, уже сильно пьян, его грузное лицо оплыло на плечи, осоловелые глаза ничего не выражают, только в зрачках горит ненависть.

Автомат стоит у него на коленях, Елин методично стреляет в потолок. У него такая привычка: когда он напивается, то садится в кресло и стреляет в потолок. Наверное, это после контузии; говорят, раньше Елин был веселым, улыбчивым мужиком. Потом под Самашками у него погибло полроты. Потом он сам подорвался на бэтэре. А потом и еще раз, кажется. Теперь Елин – самый бешеный офицер в полку. Он совсем не разговаривает, команды отдает только кулаками. Ему на все плевать: на солдатские жизни, на чеченские жизни, на свою жизнь. Пленных не берет, режет их сам, точно так же, как они режут наших солдат: прижимает ногой

² Берцы – высокие ботинки армейского образца со шнуровкой.

голову к земле – и ножом по горлу. Он хочет только одного – чтобы всегда была война и чтобы на этой войне было кого убивать. Весь потолок в каптерке в пробоинах, как дуршлаг, штукатурка дождем осыпается Елину на волосы, но ему на это плевать. Он методично стреляет вверх.